

ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»

50

петербуржцев  
столетияОТ РАСПУТИНА  
ДО ПУТИНА

— Возьми.  
Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш.  
В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.  
Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.  
Он падает на пол. И падает стул, за который он задел.

Это из последней книги — «Перед восходом солнца» — 1943 года, недопечатанной: между двумя сражениями, Сталинградским и Курским, другой полководец разрубил ее, как дождевого червя.

## ПОХВАЛА МЕЛАНХОЛИИ

Писать такую книгу в сорок втором году, печатать в сорок третьем!

Это ведь, кто не знает, — как бы трактат о победе. О полной и окончательной победе автора над собственной неврастением. Так назывался тогда в советских поликлиниках данный недуг — не исключено, что подобный английскому сплину, или там русской хандре, но вряд ли в точности: это когда тошнит от беспричинного страха — непередаваемого — сильнее смерти. Когда он, внезап-

бы взрывное устройство этого ужаса — и обезвредить.

Через восемь лет он добился успеха — и воспел его в повести 1935 года «Возвращенная молодость». Ну, а еще через восемь — этот случай самоисцеления описал: чтобы помочь другим страдальцам, но на свою беду.

Это автобиография, верней — история характера — сверху вниз: юность — отрочество — детство. Самые страшные сцены жизни вперемежку с наиболее постыдными. Все разочарования. Все randevu с Пошлостью и Смертью. Разгадка судьбы оказалась на самом дне — в сцеплении событий младенчества, вообще — скорей воображенных, добытых возгонкой снов: как-то мама кормила его грудью во время грозы, и один удар грома был особенно сильным; в этот ли раз или в другой, а только несомненно, что хоть однажды да отняли от груди насильно — рукой, заметьте, отняли грудь; и когда купали в корыте или, предположим, в ванне, — тоже, должно быть, случился какой-то неприятный инцидент, и уж, наверное, без чьей-нибудь руки не обошлось; а четвертое событие подтверждается маминим рассказом, и от него остался трехсантиметровый шрам:

«Тигр — хищный зверь. Он что делает? Бросается на свою жертву, хватается, уносит, терзает. Он пожирает ее. Зубами и когтями рвет ее мясо.

Неожиданно возникли ассоциации с рукой. С этой страшной жадной рукой, которая тоже что-то берет, отнимает, хватается...

Рука нищего, вора приобретала новые качества, свойственные дикому зверю — тигру, хищнику, убийце».

Женщина — что делает? Впрочем, неважно.

«Женщина — это любовь. Любовь — это опасность».

... Выстрел, удар, чахотка, болезни, трагедии — вот расплата за любовь, за женщину, за то, что не позволено».

И вообще — у них груди, не говоря уже о руках.

Ну, а вода — это вода.

«В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтобы умереть».

И поэтому наводнения снятся тоже.

## ЦЕНА ПОБЕДЫ

Вернее, снились. Потому что к 1935 году все как рукой сняло.

Эти силы не отступали, когда я вплотную подошел к ним. Они приняли бой. Но этот бой был уже неравный.

Я раньше терпел поражения в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его улыбки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так утешали раньше. Но теперь, когда я научился языку врагов, эти крики перестали меня страшить.

И тогда шаг за шагом я стал теснить моего противника. И он, отступая, нахмурил в себе силы бороться, делал судорожные попытки остаться, жить, действовать.

Однако мое сознание контролировало его действия. Уже с легкостью я парировал его удары. Уже с улыбкой встречал его сопротивление.

И тогда объятья страха стали ослабевать. И наконец прекратились. Враг бежал.

Но чего стоила мне эта борьба!

Это написано — вы помните — в сорок третьем. Зоценко уморил себя голодом в пятьдесят восьмом. Страх его с ума не торопился, — было время поразмыслить, чем заплачено за передышкой, за несколькими лет покоя. Ведь это был не самообман — какой-то камень — или демон — отвалился тогда от сердца.

Я и сам неохотно скажу то, что сейчас скажу.

Но это факт: как раз в 1935 году литературный дар его оставил.

Впрочем, не раньше 3 июня, когда окончена «Голубая книга» — там избранные давнишние сюжеты погружены в ироническую историю морали: эти предисловия и послесловия лучше всех новелл. Как это странно, что Зоценко посчитал нужным проститься с читателем, — неужели предчувствовал?

«А эту Голубую книгу мы заканчиваем у себя на квартире, в Ленинграде, 3 июня 1935 года».

Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто. Солнце. Внизу — бульвар. Играет духовой оркестр. Напротив — серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности не свойственное мужчине и человеку.

И мы смущены. И бросаем это дело.

Привет, друзья. Литературный спектакль окончен. Начинается моя личная жизнь во всей своей красе.

Интересно, что получится».

Цензура, само собой, слог поскребла. Печатный финал — другой, без литературного спектакля и личной жизни. Привет, друзья, — и все.

А после этого числа сочинились еще только две вещицы по-настоящему смешные — причем из каких материй! — «История болезни» (1938) и «Последняя неприятность» (1939).

И совсем в другом тоне, но тоже сильная — вот эта самая «Перед восходом солнца», где стиль неузнаваемый: предложения — из грамматики, слова — из словаря. Существительные обстоятельство, глаголы движения. Вещество этой прозы — вроде сухого льда (в такую, знаете ли, твердую снегообразную массу обращается углекислый газ при — 78,515 по Цельсию). Но эти бедные бесцветные фразы обладают весом и соблюдают ритм. Тающими, исчезающими словами выведен в одном из мнимых пространств — мрачный, твердый узор.

Ровный ряд простых правильных предложений — ни отблеска улыбки. Техника мозаики. Оптика перевернутого бинокля. Мемуары моралиста, рука мастера.

Он не разлюбил игру, но забыл смысл выигрыша — наилучшими ходами устремляется к ничьей.

Сталин опрокинул доску, так сказать, вовремя: до самой смерти Зоценко и долго потом подозревал кое-кто из публики, что «Перед восходом солнца» — шедевр.

Самуил ЛУРЬЕ

## МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

## КЛОУН, ФИЛОСОФ, ЗАКРЫТОЕ СЕРДЦЕ

Покончив с меланхолией, он обещал своим бедным новую «Похвалу глупости» — «с эпиграфом из Кромвеля: «Меня теперь тревожат не мошенники, а тревожат дураки»»...

Бродит по Сестрорецкому кладбищу ожесточенная тень, трогает тростью прутья ограды.

В двух шагах от редакции «Дела», на углу Кирочной и Таврической, прозябает, приняв цвет дождя, скучная каменная игрушка — трехъярусная цитадель оловянного гарнизона. На главной башне — огромный мозаичный герб князя Итальянского, на крепостных стенах, тоже смальтой, — сюжеты из его послужного списка: «Отъезд Суворова из Кончанского в поход 1799 года» и «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», — однако же в порядке, обратном хронологии: слева — война, справа — мир. Доброкачественный такой кондитерский стиль; ясно, что коробка была дорогая, конфеты — вкусные. На картинке справа фельдмаршал выходит из сельской церкви, где только что отслужен напутственный молебен, — и остановился на крыльце, и крестьяне с хлебом-солью его обступили в восторге и слезах, — и уже поданы сани с рогожною кибиткой, запряженные в тройку гуськом...

А в левом нижнем углу картины — две елочки из-под снега. Младшая — совсем дитя, пять лапок короткопалых, одна из них с неестественной кривизной. Эту веточку выложил Миша Зоценко, девятилетний сын мозаиста. В отцовской мастерской — на седьмом этаже, где-то на Васильевском — он чувствовал себя хорошо, как нигде на свете и никогда в дальнейшей жизни.

Суворовский музей открыли в девятьсот четвертом, 13 ноября. Художника Зоценко наградили золотой медалью. В девятьсот пятом он умер — от разрыва сердца — у сына на глазах:

«— Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш.

Не оборачиваясь, отец говорит:

но подкрившись, хватается за горло, — цвет жизни гаснет, звук становится глухим и угрожающим, вы, короче говоря, переноситесь в ад, в толпу злорадных демонов: кто зовет к столу, кто — к телефону, а самые безжалостные пытаются вовлечь вас в разговор...

«Во всей медицине, — пишет в трактате «Страдание» К. С. Льюис, — нет ничего столь страшного, как хроническая меланхолия».

Зоценко мучился ею сколько себя помнил, но к врачам обратился в начале двадцатых, когда его, так сказать, приняли в литературу, — когда кончилась для него гражданская война за кусок хлеба. Лечили его в точности как Евгения Онегина:

«Мне прописывали воду и вовнутрь, и снаружи. Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души. Посылали на море — путешествовать и купаться».

Боже мой! От одного этого лечения могла возникнуть тоска».

Главное — он боялся есть. Не мог себя заставить.

«Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника».

Наконец, в 1926 году, осенью, на краю гибели после очередного приступа, Зоценко поставил жизнь на последнюю карту: он будет сам себе Зигмунд Фрейд и академик Павлов. Разыскать в глубине ума, в потемках памяти — как



Москва, 1923 г.

двухлетнего Мишу оперировали — то есть, извиваясь от боли, он увидел над собой огромную, страшную руку с ножом.

Вот как просто. Четыре взрывателя, четыре знака: грудь, рука, вода и гром. Поэтом снятся тигры и нищие, поэтом нет радости от женщин, и тревогой обдаёт вода.

Нищий — что делает? Протягивает руку. «Я увидел руку и действие этой руки — она берет, отнимает».

Методика излечения описана двояко. Во-первых, научными терминами, как бы сквозь зубы: что-то такое — силой ума удалось разорвать неверные условные связи условных нервных раздражителей. Во-вторых, слогом высоким нет радости от женщин, и тревогой обдаёт вода.

«Свет моего разума осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские силы, столь омрачавшие мою жизнь».



4 декабря 2000

## ПЕТЕРБУРГ — XX ВЕК

А позиция была ничейная. Зато все остальное проиграно. Библиография Зощенко читается, как скорбный лист: падает пульс — дыхание угнетено — кома — клиническая смерть...

Уже «Возвращенная молодость» (1933) — между нами говоря, жизнерадостна чересчур. Наивность на грани фальши.

Что же касается «Истории моей жизни» (1934) — от лица з/к, воодушевленного строительством Беломорканала, — тут Зощенко стер, так сказать, эту грань. И зашел очень далеко. И упал низко.

«Возмездие» (1936) — просто плохое произведение. По-настоящему плохое. В том же году изготвлен и «Черный принц», но этот очерк хоть не притворяется повестью.

«Керенский» (1937) — чуть ли не еще хуже «Возмездия». Тогда же сочинен «Талисман» — как бы шестая повесть пушкинского Белкина, — убогий такой пастиш, старательным таким тупым пером.

«Тарас Шевченко» (1939), «Рассказы о Ленине» (1940)... Проза уже потусторонняя.

Несколько скучных комедий, а также невозможные «Рассказы партизан» (1944-1947)... Еще горстка новелл после «Голубой книги»: почти все — через силу... Здесь же — пресловутые «Приключения обезьяны», — хотя одна шутка там все-таки живет.

«Ну — обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе».

И все. После этой злосчастной обезьяны, и анафемы, провозглашенной Ждановым, и неслыханного постановления ЦК ВКП(б) — Зощенко ничего и не сочинял, кроме писем к товарищу Сталину.

Вот и получается, что художником он был, пока не выздоровел, — лет пятнадцать. Пока не истратил весь талант на борьбу с талантом.

## ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА

— Я ведь организую свою личность для нормальной жизни, — говорил, например, в двадцать седьмом еще году Корнею Чуковскому (тоже, кстати, безумцу, и с похожим сюжетом). — Надо жить хорошим третьим сортом. Я нарочно в Москве взял себе в гостинице номер рядом с людской, чтобы слышать ночью звонки и все же спать. Вот вы и Замятин все хотели не по-людски, а я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю. И водку пью.

Догадывался ли он, что так называемое чувство юмора как бы изотоп, что ли, страха смерти; верней — двойная инверсия; что смех и страх, короче, — симские близнецы, сросшиеся виском?

А только не слишком дорожил Михаил Зощенко этим своим знаменитым смехом, — «который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». С горькой гордостью приговаривал: клоун должен уметь все — и что он временно исполняет обязанности пролетарского писателя, — а на самом деле продолжать без конца «Декамерон» для бедных прискучило. Покончив с меланхолией, он обещал своим бедным новую «Похвалу глупости» — «с эпиграфом из Кромвеля: «Меня теперь тревожат не мошенники, а тревожат дураки»».

А написал — что написал. И в сорок третьем году был вполне доволен своей литературой, как и состоянием здоровья. Видно, изменило ему чувство реальности. Видно, думал, что дар у него — неразменный.

«Я вновь взял то, что держал в своих руках, — искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками, и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре.

Необыкновенная дорога расстилась передо мной. По ней я иду вот уже много лет. И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета.

Оговорюсь — я не испытываю беспричинной тоски. Но что такое дурное настроение, я, конечно, и теперь знаю — оно зависит от причин, возникающих извне».

Этого уже не напечатали — то есть

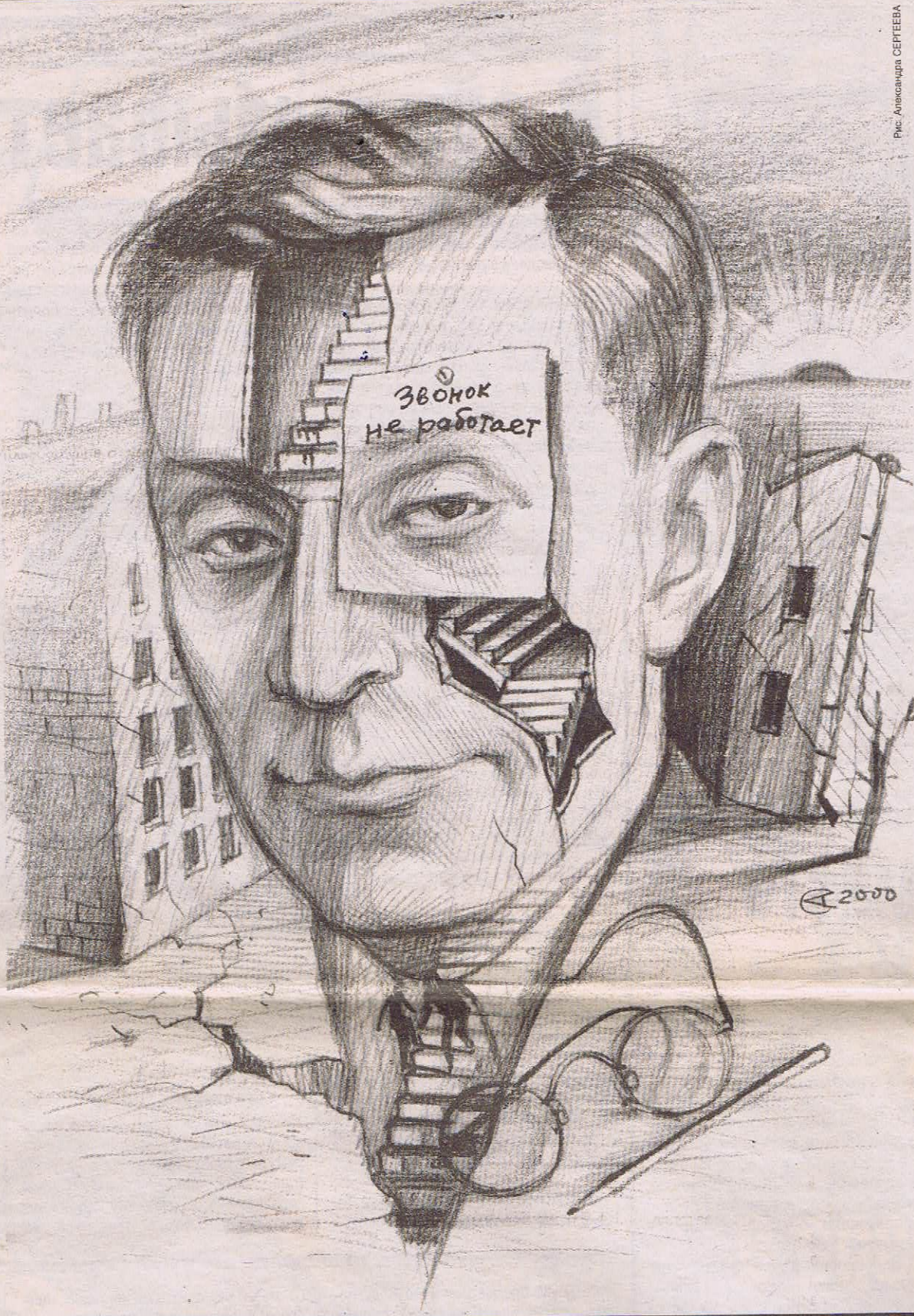


Рис. Александра СЕРГЕЕВА

напечатали через тридцать лет, — а настроение испортили тотчас и навсегда. Насмешка судьбы: отныне и до самой смерти — ни единой минуты, не отравленной ужасом и обидой. Ни дня, ни строчки.

Лично я не сомневаюсь, что сгубила Зощенко эта последняя повесть — «Перед восходом солнца». Непристойное сквернословие в так называемом докладе Жданова и в зловещем Постановлении ЦК явственно отдает жарким, смрадным дыханием Генералиссимуса. Так он обходился только с лютыми, личными врагами. В «Приключениях обезьяны» вы не найдете — современники тоже недоумевали, — не найдете ничего такого, что распалило бы злобу даже в распоследнем дураке. Легкомысленная такая детская сказка на мотив «Колобка». Что Сталин был дурак — не верится, хотя гипотеза соблазнительная: объяснила бы всё... Но слово слишком человеческое. Хотя, действительно, в данном эпизоде Великий Вождь смешон, насколько может выглядеть смешным существо, уничтожающее атомной бомбой три странички про мартышку — и автора страничек заодно.

А настоящую причину раскрыть он не мог. Не исключено, что и самому себе не отдавал отчета: что сделал с ним Зощенко. Много лет я подозревал мотив отчасти метафорический: как-никак, «Перед восходом солнца» — трактат о

страхе. То есть о сверхсекретном стратегическом топливе. Неважно, что формулу Зощенко вывел самодельную, прилизательную. Отвращение к страху — вот что вывело Сталина из себя, — думал я. — Он принял это как личное оскорбление, хотя вряд ли мог растолковать себе, в чем дело. Вероятно, полагал, что ему противно само это возмутительное зрелище: человек посреди войны, как Архимед какой-нибудь, бесстыдно углублен в отвлеченные мысли. Просто сил никаких нет не пронзить его дротиком или там чем попало.

Но, как сам же М. М. и написал, отряцая Судьбу, — «жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов».

Недавно нейрофизиологи установили, что мозг убийцы действует в особом режиме. В США, например, обследовали убийц, которые официально были признаны вменяемыми. Обнаружилось, что функции лобных областей их мозга ослаблены, и снижено потребление глюкозы в прифронтальных отделах. Испанские и русские ученые доказали, что в мозгу агрессора — избыток какого-то пептида вазопрессина, зато недостатка серотонина... И так далее. Не в названиях дело. Главное — что у людей, склонных к депрессии, — все ровно наоборот. И поэтому что меланхолику полезно — для убийцы травма или яд!

Должно быть, Сталин, читая Зощенко, страдал невыносимо.

## ФОЛЬКЛОР

На писательском собрании в Смольном после доклада Жданова пошли, как водится, речи негодяев, — а порядочные люди затаились. Как только перешли к голосованию, порядочные бросились к дверям, доставая на ходу папиросы. Но эта испытанная уловка не застала охрану врасплох: никого не выпустили из зала. Порядочным пришлось вернуться на свои места и проголосовать вместе со всеми.

Так рассказывал мне один человек. А другой — что был все-таки голос против: такой Дилакторской, детской писательницы. Она и выступить осмелилась: не могу, сказала, согласиться, что и в рассказах о Ленине Зощенко проявил себя как подонок, пошляк, хулиган. Она вроде бы до войны служила в Детгизе и подписала эту книжку в печать.

А третий рассказывал, как возвращался той августовской сорок шестого года ночью из Смольного. А жил на канале Грибоедова, в писательском доме, где и многие другие. Шли гурьбой, ночь была теплая, компания — молодая, — разговорились, расшутились, разыгрались чуть не в пятнашки. Вышли на Колюшенную площадь, повернули к набережной канала — и остановились: вдоль решетки навстречу им шел Зощенко. Франтовской плащ, кожаная кепка, трость. И ясно было, что он уже много часов так ходит взад-вперед, тростью трогая перила. Его-то на собрание не

пригласили, что случилось — не наемнули. Вот он и ждал возвращения соседей. Они, конечно, воспользовались темнотой — безмолвно разбежались по подъездам.

Зато есть легенда, что после того, как Постановление распустили в газетах, Зощенко получил по почте от разных неизвестных — сорок хлебных карточек!

Кто знает — все может быть. Цифра немножко слишком круглая.

## ФИЛОСОФИЯ СЛОГА

Пятнадцать лет он был поэтом. Владел блаженным искусством лишних слов:

«Вот опять будет упрекать автора за это новое художественное произведение».

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами...»

(Прямо урок поэтики: уберите ненужное — и все пропало!)

Он был писатель без иллюзий, работал под девизом из Эпиктета: человек — это душонка, обремененная трупом. Но, в отличие от римского раба, полагал, что за это стоит человека пожалеть — именно за то, что подловат, поскольку глуп и смертен. Так и писал: бедняга человек. И с охотой поступил в гувернеры к Пришедшему Хаму. И смешил дикарей, пресерьезно изображая говорящую обезьяну.

Всю жизнь обижался на дореволюционную русскую литературу: зачем притворялась, будто допускает, что какие-то там высокие чувства бывают сильней инстинктов? Покойного Александра Блока шпынял на каждом шагу, пародировал каждой буквой:

«Но вот взгляните на русского поэта. Вот и русский поэт не отстает от пылкого галльского ума. И даже больше. Не только о любви, но даже о влюбленности вот какие мы находим у него удивительные строчки:

О влюбленность, ты строже судьбы,  
Повелительней древних законов отцов...  
Слаще звуков военной трубы.

Из чего можно заключить, что наш прославленный поэт считал это чувство за нечто высшее на земле, за нечто такое, с чем не могут даже равняться ни строчки уголовных законов, ни приказания отца или там матери. Ничего, одним словом, он говорит, не действовало на него в сравнении с этим чувством. Поэт даже что-то такое намекает тут насчет призыва на военную службу — что это ему тоже было как будто ничем. Вообще что-то тут поэт, видимо, затаил в своем уме. Аллегорически выразил насчет военной трубы и сразу затемнил. Наверно, он в свое время словчился-таки от военной службы...»

Михаил Зощенко — вероятно, единственный из всех писателей — не верил в трагизм (и отменил его в бессмертной повести «Мишель Синягин»), и не боялся на свете ничего — кроме приступов страха.

Но Джугашвили его разгадал — храбреца, гордеца, дворянчика, офицера: обругать, как собаку, ни за что, на всю страну — сразу сломается и навсегда. Тем более, что товарищи по перу не останутся в стороне — прогонят из литературы взащей.

«Эта отрубленная голова была торжественно поставлена на стол. И жена Марка Антония, эта бешеная и преступная бабенка, проткнула язык Цицерона булавкой, говоря: «Пусть он теперь поговорит!»».

Бродит по Сестрорецкому кладбищу ожесточенная тень, трогает тростью прутья ограда.